

Sherwood Anderson

MANY
MARRIAGES

Посвящается Полу Розенфельду

Предисловие

Если вы ищете любви и неуклонно к ней стремитесь, — по крайней мере настолько, насколько это возможно среди смятения современной жизни, — вы, вероятно, безумны.

Не правда ли, случается, что поступок, в другое время и при других обстоятельствах представляющийся тривиальнейшим из возможных, вдруг превращается в титаническое предприятие?

Вот вы стоите в прихожей. Перед вами закрытая дверь, а за дверью сидит в кресле возле окна мужчина или женщина.

Дело происходит летним днем, после обеда, и ваша цель — подойти к двери, открыть ее и сказать: «Я больше не намерен жить в этом доме. Мой чемодан собран, через час за ним придет человек, я с ним уже договорился. Я только зашел сказать, что я больше не в состоянии жить рядом с тобой».

Вот он вы, видите? — вы стоите в прихожей, и вам нужно войти в комнату и произнести эти несколько слов. В доме тишина, а вы все топчетесь и топчетесь в прихожей, испуганный, колеблющийся, бессловесный. Каким-то смутным образом вы осознаете, что, когда спускались в прихожую с верхнего этажа, то шли на цыпочках.

Вероятно, и для вас, и для того, кто за дверью, было бы лучше, если б вы больше не жили в этом доме. Если б вы могли рассудить здраво, вы бы с этим согласились. Так почему же вы неспособны здраво рассуждать?

Почему вам вдруг стало так трудно сделать эти три шага по направлению к двери? Ноги у вас вроде не больные. Так отчего же в них такая тяжесть?

Вы молоды. Отчего у вас дрожат руки, будто у старика?

Вы всегда считали себя человеком не робкого десятка. Так куда же вдруг подевалась вся ваша смелость?

Вы знаете, что не сможете подойти к двери, открыть ее и, зайдя внутрь, произнести эти несколько слов так, чтобы голос не дрогнул. Забавно это или трагично?

Так разумны вы или безумны? И к чему этот водоворот мыслей в вашем мозгу — водоворот мыслей, который, покуда вы стоите в нерешительности, словно бы засасывает вас все глубже и глубже в бездонную западню.

Книга первая

1

В штате Висконсин, в городе с населением в двадцать пять тысяч, жил человек по фамилии Уэбстер. У него была жена по имени Мэри и дочка по имени Джейн, а сам он был достаточно успешным владельцем предприятия по производству стиральных машин. Когда приключилась эта штука — а об этом я как раз и собираюсь написать, — ему было лет тридцать семь-тридцать восемь, а его единственному ребенку, дочери, — семнадцать. В подробности его жизни, какой она была до этого, можно сказать, переворота, вдаваться нам незачем.

Человек довольно тихий, склонный предаваться мечтам, он в то же время пытался мечты эти из себя вытравить — ведь его призванием было производство стиральных машин; но не приходится сомневаться, что в те редкие свободные минуты, когда он, скажем, ехал в поезде или заявлялся в безлюдную фабричную контору летним воскресным днем и часами просиживал у окна, глядя на изгиб железнодорожного пути, — тогда он давал волю мечтам.

И все-таки долгие годы он не сбивался с раз выбранного пути и делал свою работу, как всякий другой мелкокалиберный предприниматель. Скажем, в этом году он процветал и денег у него было хоть от-

бавляй, а на следующий год дела шли из рук вон и местные банкиры грозились закрыть фабрику, — но как бы все ни оборачивалось, в деловом отношении ему всегда удавалось удержаться на плаву.

Таков он был, этот Уэбстер: он подошел почти вплотную к своему сорокалетию, и дочка его только-только окончила городскую среднюю школу. Стояла ранняя осень, и казалось, что и дальше он не сойдет с пути и будет жить так, как привык, но тут-то с ним и произошла эта штука.

Что-то угнездились в глубине его тела и принялось язвить Уэбстера, как болезнь. Довольно-таки трудно описать чувство, которое он испытывал. Словно бы нарождалось что-то новое. Будь он женщиной, то мог бы заподозрить, что неожиданно-негаданно забеременел. Сидел ли он у себя в конторе, погруженный в работу, или бродил по улицам городка, — его переполняло поразительное ощущение, будто он — это не он сам, а нечто невиданное, чужое. Порой чувство, что он — это и не он вовсе, захватывало Уэбстера так сильно, что он останавливался на улице как вкопанный и так и стоял, оглядываясь и прислушиваясь. Скажем, оказывается он перед лавчонкой в каком-нибудь переулке. Позади лавчонки небольшой участок, и на нем растет дерево, а под деревом стоит старая лошадь.

Если бы лошадь подошла к забору и заговорила с ним, или если бы дерево сподобилось поднять одну из своих тяжелых нижних ветвей и послало ему воздушный поцелуй, или если бы вывеска над лавчонкой внезапно прокричала: «Джон Уэбстер, успевай позаботиться о своей душе накануне Второго пришествия!», — даже в этом случае жизнь не изумила бы его больше, чем уже изумляла. Ни единое событие, которым мог бы похвалиться внешний мир — мир таких грубых вещей, как тротуар под его ногами,

одежда на его теле, локомотивы, что тащат поезда по рельсам мимо его фабрики, трамваи, что громы-хают мимо него по улицам, — ничто из этого не могло потрясти его сильнее, чем те чудеса, которые творились у него внутри.

Поглядите на него — вот он перед вами, среднего роста, с легкой проседью в черных волосах; широкие плечи, ладони крупные и полные, слегка меланхоличное и, пожалуй, чувственное лицо; он заядлый курильщик. В то время, о котором я веду рассказ, ему представлялось чрезвычайно трудным усидеть на месте, и потому он непрестанно куда-то шел. Он вскакивал со своего кресла и отправлялся бродить по цехам. Для этого ему требовалось пройти через просторную приемную, где размещались стол счетовода, стол управляющего и еще столы для трех девиц, которые тоже занимались какой-то конторской работой, рассылали потенциальным покупателям рекламные проспекты о стиральных машинах и пеклись о прочих мелочах.

В кабинете Уэбстера помимо него обреталась еще широкоскулая двадцатичетырехлетняя особа — его секретарша. У нее было крепкое, хорошо сбитое тело, но собой она была хороша не слишком. От природы ей достались толстые губы и широкое плоское лицо, но кожа у нее была очень чистая, и такая же чистота жила в ее глазах.

С тех пор как Джон Уэбстер заделался фабрикантом, он уже тысячу раз выходил из кабинета в приемную, открывал дверь и шагал по дощатому настилу к самому зданию фабрики, но никогда он не делал этого так, как сейчас.

Словом, вдруг ни с того ни с сего он очутился в новом мире, и спорить с этим фактом было невозможно. Однажды ему пришла в голову мысль. «Может, черт знает почему, я делаюсь немножко того», — по-

думал он. Мысль эта его нисколько не встревожила. В ней была даже известная приятность. «Теперь я как-то больше нравлюсь сам себе», — заключил он.

Он как раз собирался пройти через свой маленький кабинет в большую приемную, и дальше — на фабрику, но остановился перед дверью. Девушку, которая работала в одной с ним комнате, звали Натали Шварц. Она была дочерью владельца местного бара, немца, который женился на ирландке, а потом отдал Богу душу, не оставив после себя ни гроша. Джон Уэбстеру вспомнилось все, что он знал о ней и о ее жизни. Дочерей у немца было две. Характер у их матери был прескверный, к тому же она имела обыкновение прикладываться к бутылке. Старшая дочь стала учительницей и преподавала в местных школах, а Натали выучилась стенографии и нашла работу в фабричной конторе. Они жили в деревянном домишке на окраине города, и время от времени старуха мать, выпив лишнего, почем зря издевалась над двумя девушками. А девушки они были хорошие и трудились не покладая рук, но мать с пьяных глаз бранила их за распущенность и ставила в вину всевозможные потребности. Все соседи очень их жалели.

Джон Уэбстер стоял у двери, взявшись за ручку. Он пристально смотрел на Натали, но не чувствовал при этом смущения и не находил в ней самой ничего необычного. Она раскладывала по стопкам какие-то бумаги, но вдруг оторвалась от дела и посмотрела ему в лицо. Какое это было чудное чувство — что можно вот так глядеть, прямо в глаза другому человеку. Как будто Натали была домом, а он заглянул снаружи в окно. Натали, сама Натали, жила в доме своего тела. Она была такая тихая, серьезная, славная, и разве не странно, что он мог сидеть рядом с нею каждый день на протяжении двух лет или трех и ни разу не задуматься о ней и не попытаться загля-

нуть в этот дом. «И сколько их, этих домов, куда я не заглядывал», — подумалось ему.

Необычайное, туго сжатое кольцо мыслей быстро вращалось у него в голове, пока он без всякого смущения взирал на Натали. В какой чистоте она содержит свой дом. Старуха ирландка может визжать с пьяных глаз и, едва ворочая языком, обзывать дочь шлюхой — так ведь она и делала по временам, — но ругани ее было не просочиться в дом Натали. Маленькие мысли Джона Уэбстера обратились в слова, и пусть он не произносил их вслух, они вскипали в нем, словно голоса, и сливались в приглушенном вопле. «Она моя возлюбленная», — произнес один голос. «Ты должен войти в дом Натали», — сказал другой. Лицо Натали залилось румянцем, и она улыбнулась.

— Вы с недавних пор сам не свой. Вас что-то тревожит?

Еще ни разу прежде она не говорила с ним в таком тоне. В этих словах было что-то почти интимное. На самом-то деле стиральномашинные дела в последнее время шли на ура. То и дело поступали новые заказы, и на фабрике гудела жизнь. В банке не было ни единого просроченного счета.

— Почему же, я в полном порядке, — сказал он. — Я очень счастлив и очень даже в порядке, особенно сейчас.

Он вышел в приемную, и три девицы и счетовод отложили работу, чтобы взглянуть на него. Они всматривались в него поверх столов, и в этом было что-то сродни произвольному жесту. Они ничего не хотели этим сказать. Счетовод подошел к нему и задал вопрос по поводу какого-то счета.

— Что ж, я был бы очень рад, если бы вы воспользовались собственным мнением по этому вопросу, — сказал Джон Уэбстер.